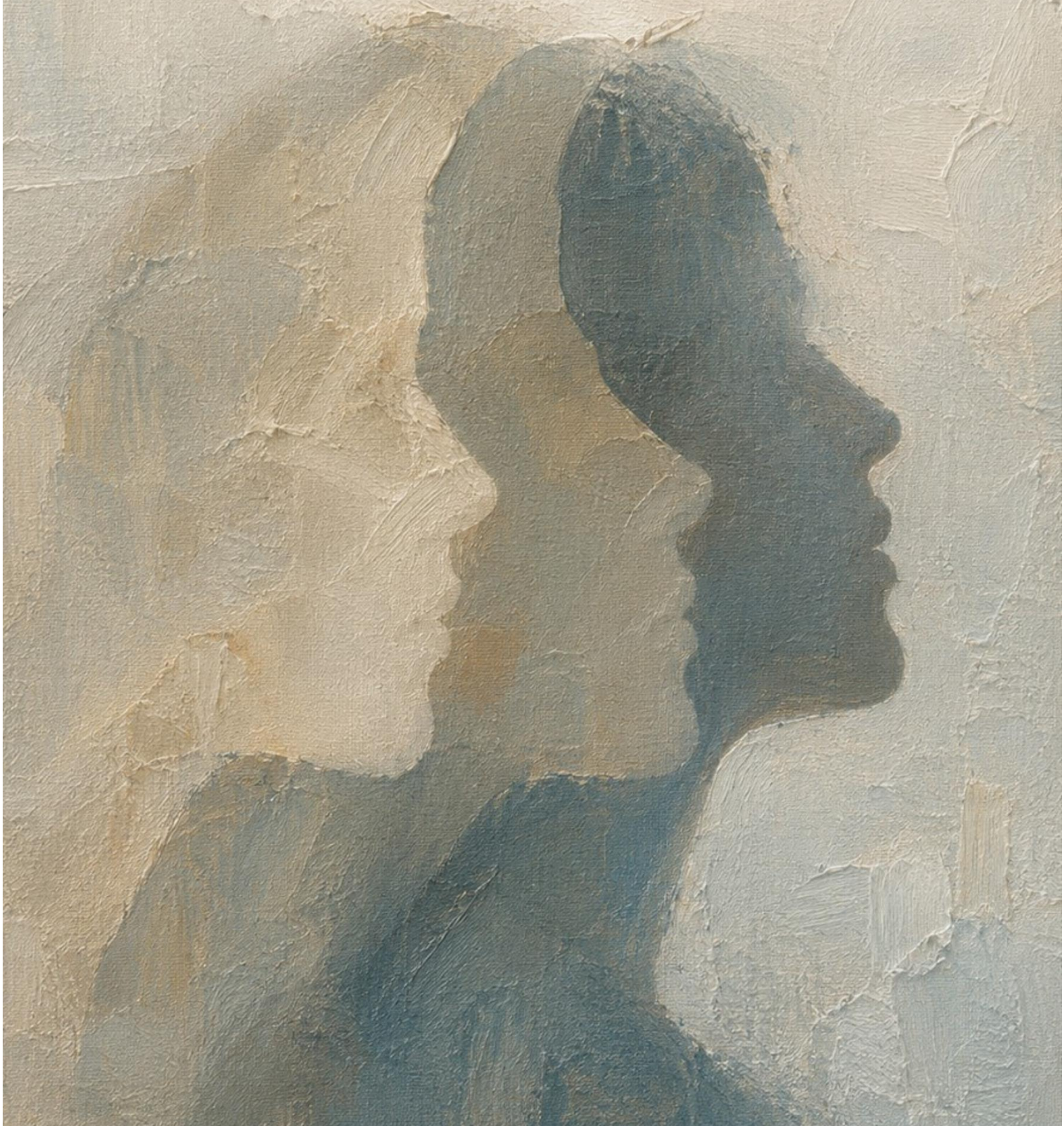
АНТОН АБРАМОВ

БЕЗ ДУБЛЯ



Антон Абрамов

Без дубля

«Автор»
2026

Абрамов А.

Без дубля / А. Абрамов — «Автор», 2026

Вере сорок один год, и она работает дочерью. Агентство «Рядом» отправляет ее к одиноким старикам, чьи дети платят за то, чтобы вместо них приезжал кто-то другой. По воскресеньям Вера чинит кран и меряет давление восьмидесятидвухлетнему Аркадию Михайловичу, который на прощание называет ее Леной, именем своей дочери, и просит не пропадать.У Веры есть и своя мать. После инсульта она почти потеряла речь и переехала к Вере и внучке, и оказалось, что дома профессиональная сноровка только мешает. Вера по привычке договаривает за мать слова, которые та изо всех сил пытается сказать сама. Мать до сих пор не может выговорить имя дочери. Пятнадцатилетняя Тася, которую бесит, что мама и дома остается наполовину у кого-то, однажды заявляет ей: «Ты продаешь людям присутствие, когда родные не справляются. Ну вот, я купила».Вера умеет быть рядом с кем угодно по сорок девять минут. Со своими сценария нет, и второго дубля не бывает...

© Абрамов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть I. Роли 6
Глава 1. Лена 6
Глава 2. Девочка с закрытой дверью 11
Глава 3. Клиентка 16
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Без дубля

Без дубля

Часть I. Роли

Глава 1. Лена

Перед дверью ты еще не дочь... Сначала слушаешь.

За дерматином идет жизнь малого радиуса, и, кроме газа, коротко вздохнувшего под чайником, в ней слышен только телевизор в дальней комнате, который он не выключает, чтобы квартира к вечеру не сходилась слишком плотно. Звонить с порога ты отучилась в тот раз, когда застала его у вешалки в одном носке и он, держась за стену и примериваясь нагнуться за вторым, не оборачивался, пока ты не ушла на кухню и не загремела там посудой, давая ему время. С тех пор ты подолгу стоишь на коврике, угадывая по звукам, какой он сегодня, и успеваешь сделать лицо, которое ему нужно.

На звонок он отзывается не сразу, и шаркание приближается так медленно, что ты различаешь, как на каждом шаге он выдыхает чуть протяжнее, чем следовало бы. Верхний замок, с которым пальцы справляются хуже всего, поддается со второй попытки, прежде чем дверь отходит на ладонь и в щели появляется светлый недоверчивый глаз.

— Опять без шапки, — говорит он и только после этого снимает цепочку.

— Здравствуй, пап.

— Заходи. Стоишь, как участковый.

В тесной прихожей, где пахнет аптечной мазью и яблоками, залежавшимися в вазе на тумбе, он, не таясь, оглядывает тебя по частям и задерживается на руках. Деревянному слону рядом не хватает бивня, и ты знаешь, что бивень, отбитый под Новый год в девяносто восьмом, нашелся весной, при мытье окон, и приклеивать его уже не стали, потому что за зиму все привыкли к слону без него.

— Давай пакет.

— Не дам. Ты опять дернешь руку.

— Ничего я не дерну.

— Дернешь, а после сделаешь вид, что так и было.

Крайний крючок шатается с ноября, и пальто ты вешаешь на средний, а он, заметив, что ты это помнишь, отворачивается к двери и накидывает цепочку.

На кухне под полотенцем лежит непочатая буханка. Про обед он после слишком аккуратной паузы отвечает «конечно», а когда ты обещаешь проверить тарелку, называет тебя следователем.

— Нет. Просто знаю тебя.

— От этого не легче.

Ты завариваешь чай сама, в его чашке со сколом на ручке, и, когда он входит и садится к столу, придерживая ладонью левый бок, видишь, что серый кардиган застегнут у него неровно, с третьей пуговицей в четвертой петле, отчего ворот рубашки сбился набок и открыл седую щетину под кадыком.

— Я бы и сам чай налил.

— Я знаю.

— Тогда почему всегда лезешь?

— Потому что свой ты выливаешь в раковину.

Он молча смотрит, как ты разбираешь пакет и ставишь в холодильник творог, к полбанке горчицы, кроме которой там ничего нет, и только на апельсиновом джеме, который ты достаешь напоследок, его взгляд останавливается.

— Это еще зачем?

— Затем, что горчица не считается ужином.

— Еще как считается.

— В тюрьме, может быть.

— А я где, по-твоему?

Послюнив палец, он разворачивает газету на недорешенном кроссворде.

— Река в Сибири, четыре буквы.

— Лена.

Ответ он вписывает с таким нажимом, что грифель крошится по клеточкам, и все держит карандаш на конце слова, хотя ты уже намазала на хлеб сметану и сверху, тонким слоем, джем. Чай, некрепкий, как велел кардиолог, успевает подостыть, прежде чем ты спросишь про давление.

Оно, конечно, нормальное, и мерил он его, конечно, утром. Ты напоминаешь, что нормальное у него бывает раз в квартал, и он просит не драматизировать и принимается изучать клеенку с виноградными листьями, где под его ногтем один лист давно потерял блеск, и сейчас он снова водит по прожилкам.

— Сто сорок восемь на восемьдесят пять. Видишь, можно было и не приставать.

Тонометр живет в комнате на серванте, и телевизор там рассказывает пустому креслу про погоду на выходные. Рядом из рамки улыбается девушка лет семнадцати на выпускном, с бантом в гладко зачесанных волосах и с ямочкой на подбородке, которой у тебя нет, и в первый раз ты простояла перед снимком так долго, что он спросил из кухни, не заблудилась ли ты, и рассмеялся твоему «да». В марте на календаре из аптеки шариковой ручкой обведены все воскресенья.

Ты надеваешь ему манжету выше левого локтя, закатав рукав над выцветшим якорем, и, пока аппарат жужжит, стягивая руку все туже, он смотрит на твои пальцы, которыми ты придерживаешь трубку.

— Сто пятьдесят два на восемьдесят восемь.

— Это потому что ты над душой стоишь.

Липучка отрывается с треском, и ты записываешь цифры в телефон, в заметку, из которой на лестнице соберешь отчет, а он, глядя, как ты набираешь, разглаживает ладонью гладкий рукав на локте.

Он берет хлеб не сразу, сначала проследив, где ты оставила чашку и куда положила ложку. Откусывает с усилием, и лицо у него размягчается только через несколько секунд.

— Хорошо. Сметану ту взяла.

— Другую ты все равно не ешь.

— Другую мне и не надо.

— Как у тебя на работе? — спрашивает он, не поднимая глаз.

— Сдаем объект.

— Объект. Все у вас объекты. А с квартирой что? Закрыли?

— В мае закроем.

— Ну-ну, — говорит он и ставит карандашом точку на полях газеты.

Этажом выше ребенок с одинаковой злостью бьет мячом в стену, пока женский голос не обрывает игру, и он, дослушав до тишины, докладывает, что утром к Пашке приезжал сын и пробыл у него минут пятнадцать, не заглушив машину.

— Ты и это видел.

— У меня окно, Лена.

Пашка сидел у песочницы в куртке поверх тельняшки, когда ты шла к подъезду мимо газонов, где мартовский снег еще лежит серыми коржами, и, узнав тебя, поднял руку с сигаретой и крикнул на весь двор: «Ленка! К отцу?» Ты помахала ему в ответ свободной рукой.

После сына Пашка полдня не уходил с лавки и улыбался, старый дурак, рассказывает он, отщипывая корку, и, услышав от тебя, что это хорошо, соглашается, что хорошо, только мало.

Из-под третьей пуговицы свисает нитка, и кардиган он отдает тебе, вдоволь наворчавшись, что пуговица еще поживет, а без кофты сразу становится меньше и суше, хотя кость у него широкая.

Достаешь из ящика жестяную коробку из-под печенья, где он держит все для шитья, и тянешься было к зеленой катушке, но он предупреждает, чтобы ты ее не трогала.

— Это мамина?

— Да.

— Почему она до сих пор здесь?

— Потому что здесь.

Ты берешь серую, и, пока продеваешь нитку в иглу, он следит за твоими пальцами.

— У нее большой палец так же ложился, — тихо говорит он.

— У кого?

Он смотрит на стол.

— У матери твоей.

— Значит, хоть что-то мне от нее досталось.

Он отодвигает пустую тарелку. Пуговицу ты пришиваешь крепко, в несколько проходов, и он терпит молча, лишь изредка поглядывая в окно, за которым в соседних домах то тут, то там загорается свет, так что двор становится похож на тетрадный лист, где кто-то ставит редкие отметки.

— Завтра кардиолог, — напоминает он.

— Помню.

— Только без этого тона.

— Какого?

— Которым вы все говорите «помню».

Тогда ты повторяешь иначе, медленно: завтра у него кардиолог, он возьмет анализы и очки и не станет спорить с врачом.

— А если он неуч?

— Тогда спорь тихо.

Он улыбается, на этот раз открыто, и улыбка у него мальчишеская, совсем не по лицу.

— Новый у них, — говорит он. — Молодой. В прошлый раз все в компьютер смотрел, а меня назвал дедушкой. Я ему не дедушка. Мать твоя к нему меня бы одного не пустила, сама бы все спросила.

Вопросы к нему он диктует тебе сам, и ты записываешь их крупными буквами на обороте квитанции: про ноги, которые к вечеру отекают, и про то, можно ли вечернюю таблетку пить не в девять, а в десять, после новостей. Листок ты складываешь вдвое и убираешь в обложку его паспорта, где уже лежат полис и снимок кардиограммы.

Ты откусываешь нитку, он надевает кардиган и застегивает уже правильно, медленно, глядя себе на руки, и, порывшись в ящике с лекарствами, достает новую коробку, которую выписали в прошлый раз, и просит прочитать, что там написано мелко, потому что очки у него для телевизора. Ты читаешь вслух про способ применения и про то, что принимать следует после еды, запивая водой, а когда доходишь до побочных действий, останавливаешься.

— Читай.

— Там неинтересно.

— Читай, говорю.

Ты читаешь про головокружение и сухость во рту, и он сидит, прикрыв глаза, а когда ты замолкаешь, открывает их не сразу и только через минуту, мимоходом, говорит:

— С тобой бы пойти.

— Завтра не смогу. Но после заеду.

— После — это когда?

— Как освобожусь.

— Тоже ответ.

Чашку он берет обеими руками, пробует и, поморщившись, называет чай поминальным, но пьет маленькими осторожными глотками. На улицу, как выясняется, он не выходил, только на балкон, который по его правилам вполне считается, и, когда ты говоришь, что там холодно, отвечает:

— Везде холодно.

Он смотрит мимо окна, туда, где ничего не видно. Короткий путь от лифта до двора однажды стал для него длиннее города.

В ванной третий день не горит лампочка, и он сознается в этом, только когда ты сама щелкаешь выключателем. Запасная находится в той же жестяной коробке, под пуговицами. Ты встаешь на табуретку, а он, не слушая возражений, держит ее обеими руками и снизу говорит, что колпак откручивается против часовой и что, если ты свалишься, он тебя не поймает, так что лучше не валиться. Старая лампочка, когда ты ее выкручиваешь, звенит оборванной нитью. Свет загорается сразу, белый, слишком яркий для этой ванной, и он смотрит на него, задрав голову, и говорит, что теперь хоть видно, какая тут грязь.

— Ты маленькая тут без света мыться не давалась. Орала на весь подъезд.

— Не помню.

— Ну конечно. — Он сам щелкает выключателем, и в ванной снова темно.

Что он вкладывает в это «ну конечно», ты не знаешь: так говорят и с упреком, и с нежностью, и выяснять ты не стала бы, даже если бы было время.

Ты закрываешь сметану, переставляешь таблетницу ближе к чайнику, чтобы он не забыл вечернюю, и все это время он следит за каждым твоим движением. На часы он не смотрит ни разу. Долго повертев чашку и проведя пальцем по сколу на ручке, он наконец спрашивает:

— В воскресенье зайдешь?

— Постараюсь.

— Постараешься, — повторяет он, глядя в чашку. — Ты всегда стараешься.

Забрав у него чашку, ты споласкиваешь ее и ставишь вверх дном на полотенце, пока он, опираясь о край стола, поднимается, чтобы проводить тебя, и в прихожей, под желтой лампочкой, его лицо видно целиком: старое, с ясными глазами.

— Шарф надень.

— На улице тепло.

— Тепло у тебя в голове.

Ты смеешься и целуешь его в щеку, пахнущую одеколоном и табаком, хотя курить он бросил много лет назад. Из вазы на тумбе он выбирает два яблока покрепче и сует тебе в карман пальто, потому что все равно пропадают, а когда ты, уже в пальто, напоминаешь, чтобы запер все замки, отвечает, что врезал их сам, в девяносто третьем, когда по подъездам лазили, и учить его нечего.

— И напиши после врача.

Он обещает и, когда ты добавляешь «сам», повторяет с терпеливым раздражением:

— Сам.

Ты уже берешься за ручку, когда он накрывает твою кисть сухой горячей ладонью.

— Не пропадай, Лена.

— Не пропаду.

Когда дверь за тобой закрывается, замки щелкают по одному, и перед третьим он переводит дух. Ты ждешь на площадке, пока он, как всегда после твоего ухода, стоит, прислонившись к двери спиной, и сквозь дерево слышна тишина, в которой человек не трогается с места.

Пролетом ниже ты достаешь телефон и, не останавливаясь, заполняешь отчет о визите.

Аппетит снижен. АД 152/88 (сам назвал 148/85). Пришита пуговица на кардигане. Спрашивал про воскресенье.

Таймер стоит на 49:00, над ним карточка визита:

Аркадий Михайлович С.

Формат присутствия: дочь

Ниже, серым шрифтом: «Продление визита недоступно».

Глава 2. Девочка с закрытой дверью

Вагон в это время полупустой и пахнет мокрыми куртками. В метро я переключаю телефон с рабочего приложения на свои сообщения, и сверху, под ее именем, висит вопрос, отправленный в 16:40: «ты подпишешь?» Ниже пропущенный от мамы, в 18:12, когда я застегивала Аркадию Михайловичу кардиган, и голосовое на шесть секунд, где она говорит «про...» и следом, громче, то же «про...», и бросает трубку. Это может быть и «продукты», и «прости». Раньше мама могла проговорить по телефону час, рассказывая про соседку и про то, кого из актеров вчера показали по телевизору постаревшим, и я успевала за это время перемыть всю посуду. По телефону маме трудно, она теряет слова на середине и злится, если их подсказывать, поэтому перезванивать я не стану и пишу ей, что заеду на днях. Под вопросом про подпись набираю «еду», стираю, набираю «уже еду» и отправляю. Сообщение долго висит непрочитанным, пока поезд идет в тоннеле, а на «Тульской» две галочки синеют, и больше ничего не приходит. Напротив меня дремлет старик с авоськой, и я считаю его вдохи, пока он не просыпается на «Нагатинской» и не выходит, так и не узнав, что его кто-то считал. В кармане пальто у меня два яблока, которые Аркадий Михайлович сунул мне в прихожей.

От метро до дома десять минут, если идти дворами. В конце марта дворы у нас еще не просохли: с асфальта снег сошел, а на газонах почернел и осел, и дети, которых еще не загнали домой, разбивают каблуками лед на лужах. В булочной у остановки уже гасят витрину, и продавщица, знающая меня в лицо, стучит по стеклу и показывает на последний батон, но я качаю головой и иду дальше.

Кофейня на первом этаже нашего дома уже закрыта, на стеклянной двери висит какая-то афиша, синяя, с саксофоном, и я прохожу мимо, доставая из кармана ключ от домофона.

В лифте я обычно напеваю что-нибудь вполголоса, пока он ползет на седьмой, и к седьмому голос садится обратно, становится моим, с хрипотцой, которую на выезде я убираю. Сегодня лифт опять застрял где-то наверху с открытыми дверями, и на седьмой этаж я поднимаюсь пешком, перекладывая пакет с молоком из руки в руку. На четвертом соседка, выводящая таксу, придерживает для меня дверь на лестничную клетку и, пока собака обнюхивает мои ботинки, рассказывает, что моя опять весь вечер просидела одна, свет у нас горел с шести, а она, соседка, заходила насчет квитанций за домофон, и ей не открыли. На вопрос, где ж я все пропадаю, я отвечаю, что в соцзащите, и это почти правда. Соцзащитой я называю свою работу всем, кто спрашивает на лестнице: после этого слова второго вопроса не задают. Я благодарю ее, обещаю занести деньги завтра и поднимаюсь дальше, на ходу доставая ключи, чтобы не искать их под дверью.

Свет на нашей площадке мигает через раз. Пока я вставляю ключ, а замок еще не щелкнул, я успеваю подумать то, что думаю здесь каждый вечер: только бы она не спала, но и не ждала.

Из прихожей видна кухня и полоска света под дверью ее комнаты. Ее кроссовки стоят у порога мокрые, с грязью до шнурков: значит, она все-таки выходила, а соседке не открыла, когда вернулась.

Вхожу я тихо. Мать всегда приходила с шумом, с сумками и новостями прямо с порога, так что весь подъезд знал, что она дома, а я и у себя дома подаю голос, только когда сниму обувь. Сняв пальто и положив телефон на тумбу экраном вниз, я еще какое-то время двигаюсь медленнее, чем нужно, и замечаю это, только когда опускаю пакет на пол обеими руками. Яблоки Аркадия Михайловича я выкладываю в вазу на кухне, и среди наших их уже не отличить.

На кухонном столе стоит тарелка с остатками лапши, а под солонкой лежит школьный листок с пустой строкой для подписи: разрешение на завтрашнюю поездку в Третьяковку,

которое я обещала подписать еще утром. Тарелку я ставлю в раковину и пускаю на нее воду, чтобы лапша отмокла. Котлеты, которые я жарила вчера, стоят в холодильнике нетронутыми; на дверце, под магнитом из Анапы, все еще висит ее рисунок из садика, где мы с ней держимся за руки и руки у меня до самой земли. Молоко я ставлю на полку, а две котлеты выкладываю на сковородку и зажигаю под ней газ.

Ручку беру из стакана у окна, с погрызенным колпачком. Ставлю дату, ниже фамилию, и на первой букве рука уходит не туда: выходит короткая косая черта, которой в моей подписи нет. Я останавливаюсь, смотрю на нее и медленно вывожу свое имя до конца. Чернила ложатся ровно.

Из-за ее двери доносится смех, тихий и короткий, и следом ее голос что-то отвечает, но слов не разобрать. Котлеты я переворачиваю, и, пока они шипят, вытираю руки кухонным полотенцем, хотя руки сухие, и перекладываю котлеты на тарелку, отрезаю хлеба и с тарелкой иду к ней. Стучу костяшками два раза.

— Да?

Голос у нее уже почти взрослый.

— Я пришла.

— Вижу.

— Можно?

— Зачем?

— Я подписала. На музей.

— Хорошо.

— Я котлеты погрела.

— Я ела.

— Лапшу?

— Ну.

Я прислоняюсь к двери плечом. Дерево теплое, за ним играет музыка, тихая, почти без баса, а еще год назад из-за этой двери гремело такое, что снизу стучали по батарее.

— Откроешь?

— Я занята.

— Две минуты.

— У тебя их всегда две.

Я смотрю на часы и опускаю руку с тарелкой.

За дверью отъезжает стул, щелкает ручка, и она открывает ровно настолько, чтобы в проеме поместились лицо и плечо в сером худи. На щеке у нее розовый след от ладони, в руке телефон, и, пока она стоит в проеме, экран гаснет и снова загорается. Она переводит взгляд с тарелки на меня.

— Что?

— Просто хотела тебя увидеть.

— Увидела.

За ее плечом видна кровать со сброшенным пледом и половина плаката; на двери, где раньше висели открытки и списки, написанные ее круглым почерком, остались только дырочки от кнопок.

— Ты злишься?

— Нет.

— Из-за подписи?

— Не только.

Она опускает глаза в телефон, большим пальцем быстро что-то набирает и гасит экран.

— Я правда забыла.

— Ага.

— Там затянулось.

— Угу.

— Я была на выезде, там один человек...

— Мам, я поняла.

— Дашь пройти?

Она еще секунду стоит в проеме, отходит и садится на кровать, и я вхожу. Тарелку я ставлю на край стола, и она, не вставая, протягивает руку и отодвигает от тарелки лист бумаги.

— Вилку ты не принесла.

— Сейчас.

На кухне я достаю из ящика вилку, а когда возвращаюсь, она сидит в той же позе, с телефоном экраном вниз на колене. Вилку я кладу на край тарелки.

Кукольный дом, стоявший у окна, я два года назад отдала соседке для внучки, и на его месте теперь стол, где в банках из-под горошка стоят кисти, а рядом черный лак для ногтей. На подоконнике маленький суккулент в треснувшем горшке, которого я раньше не видела. В комнате пахнет ацетоном и мандариновой коркой, а в окне, если наклониться, видна погасшая вывеска кофейни.

— Ты купила? — показываю я на горшок.

— Нет. Подарили.

— Кто?

Она поднимает брови.

— В школе. На Восьмое марта. Всем дали.

— Понятно.

Я остаюсь у стола. Она сидит на кровати, поджав одну ногу, и на коленке, торчащей из дыры на джинсах, у нее пластырь с динозаврами, наклеенный криво, одной рукой, из той коробки, что я покупала ей лет в семь и, оказывается, так и не выбросила.

— Как день?

— Мам.

— Что?

— Нормально.

— Что было в школе?

— Школа.

Лист, который она отодвинула, — набросок черной ручкой: девочка в три четверти, с волосами, убранными назад так туго, что лоб кажется беззащитным.

— Это твое?

— Да.

— Красиво.

— Ты даже не посмотрела.

Я беру лист в руки. Глаз взят одной линией, без поправок, ключица только намечена, а там, где волосы собраны в узел, ручка продавила бумагу почти насквозь. На обороте решена задача по физике, и решение перечеркнуто крест-накрест.

— У тебя рука стала тверже.

— Мы с натуры рисуем, по четвергам.

— С Нелли Борисовной?

— С ней.

— А завтра что смотрите?

— Серова. Нелли Борисовна хочет, чтобы мы портреты посмотрели.

— «Девочку с персиками»?

— Мам, там не только девочка с персиками. Там Ермолова. — Она впервые за вечер говорит больше трех слов подряд. — Нелли Борисовна говорит, он ее писал как бы снизу, из

партера, поэтому она там огромная, хотя просто стоит у стены. Я хочу посмотреть, правда это или она придумала.

Ермолову я помню: в седьмом классе мама водила меня в Третьяковку и перед этим портретом простояла дольше, чем перед всеми остальными.

— Ты ее видела? — спрашивает она.

— С бабушкой. Давно.

— Бабушка бы ей еще и монолог прочитала.

— Прочитала. В гардеробе, на весь вестибюль.

Она фыркает в колени, и на секунду это почти смех. Я жду, что она скажет про бабушку что-нибудь еще, но она снова берет телефон.

— Во сколько сбор?

— В восемь пятнадцать у школы.

— Будильник поставь.

— Мам.

Лист я кладу обратно, точно так, как он лежал, и сажусь на край стула. Раньше я садилась на кровать и читала ей вслух, пока она не засыпала. Первый раз она заперлась, когда ей было двенадцать: я вернулась под утро с ночного дежурства, а на двери висела записка «Не будить», написанная тем самым круглым почерком, и я стояла перед ней с пакетом теплых бубликов, пока они не остыли. Назавтра мы об этом не говорили, а записку я положила в ящик с документами, между ее свидетельством о рождении и гарантийным талоном на холодильник. Почерк на ней ровный и старательный, каким в подъезде пишут объявления про отключение воды.

— Завтра могу отвезти тебя к музею, если с утра.

— Не надо. Мы от школы едем.

— Я просто предложила.

— Я знаю.

Телефон рядом с ней вздрагивает экраном вниз, и она накрывает его ладонью, не переворачивая, но, пока ладонь до него не дошла, сбоку успевает мигнуть строчка уведомления, из которой я вижу одну букву: «М.».

— Ты сегодня поздно, — говорит она.

— Да.

— У тебя была смена?

— Была.

— Тяжелая?

Она спрашивает, глядя прямо на меня, и я привстаю со стула.

— Не очень. Просто человек был...

Она отворачивается к стене раньше, чем я договариваю.

— Не надо.

— Я и не собиралась.

— Собиралась.

Я сажусь обратно.

— Ты от них всегда такая приходишь, — говорит она, сковыривая с большого пальца черный лак. — Тихая. Как будто я тоже у тебя по записи.

— Это нечестно.

— Конечно, нечестно. Я же не плачу.

Песня в колонке кончается, а следующая начинается не сразу.

— Не говори со мной этим голосом, ладно?

— Каким?

— Этим. Спокойным. Ты так с ними по телефону разговариваешь.

— Я правда стараюсь.

— Я слышу.
— Листок я подписала.
— Ты говорила.
— Деньги на поездку переведу утром.
— Не надо, я скинула из своих.
— Из каких своих?
— За афиши заплатили.
— За какие афиши?
— Для кофейни внизу. К джазовому вечеру. Я же тебе говорила.
— Покажешь?
— Они на двери висят. Ты мимо каждый день ходишь.
— Завтра посмотрю.
— Их завтра снимут. Вечер был в субботу.
Я встаю.
— Котлеты остынут.
— Я позже.
— Хорошо.
— И мам...
Я жду у двери.
— Не стучи больше. Я правда хочу побыть одна.
— Хорошо.
Секунду она молчит и добавляет тише:
— Я не клиент.
— Я знаю, — говорю я, но она уже смотрит в телефон.

Дверь я прикрываю неплотно, оставляя щелчок ей. На кухне включаю чайник, хотя пить не хочу, и стою рядом, пока он шумит, и в конце концов съедаю холодную котлету прямо у открытого холодильника, под рисунком, где руки у меня до земли. Телефон в прихожей коротко звякает. Из координации пишут, что завтра в одиннадцать у меня первичный визит: Виленская Н. С., заказчик свяжется утром. Я отвечаю «принято». В доме напротив горит одно окно, и там женщина гладит белье, поднимая утюг над каждой складкой.

Фамилия мне ничего не говорит, и, сидя на табуретке у плиты, я набираю ее в поиске. Виленская Нина Самойловна, режиссер дубляжа: длинный список фильмов, которые я смотрела в детстве, не зная, что русские голоса в них кто-то подбирал, и одна фотография с какого-то фестиваля, где седая женщина в черном смотрит мимо камеры. На завтра я достаю из шкафа серую водолазку и брюки без стрелок: на первичные визиты я хожу в сером, чтобы в чужой квартире меня было как можно меньше видно.

Разрешение все так же лежит на краю стола, и косая черта у даты почти не видна, если не знать, где она. Я убираю листок в ее рюкзак, в прозрачный карман спереди, где уже лежит сложенная вчетверо листовка какой-то летней художественной мастерской, чтобы утром она не искала.

Ближе к полуночи ее дверь открывается и закрывается снова, и, выйдя в коридор, я нахожу на полу у порога пустую тарелку с вилкой, положенной поперек. Через несколько минут из-за двери снова слышен смех и следом голос, неразборчивый: она с кем-то разговаривает.

Глава 3. Клиентка

С улицы, со стороны зоопарка, тянет мокрым сеном. Дом на Зоологической построен до войны, и звук в его подъезде не мечется по лестнице, а уходит вверх, в темный колодец между маршами, где и гаснет. Вестибюль высокий и холодный, с мраморным полом и латунной рамой зеркала, а у лифта деревянные дверцы, которые закрываются в два приема. Консьержка поднимает на тебя глаза один раз, без любопытства, и снова опускает их в телефон, из чего ты заключаешь, что люди, приходящие сюда не по родству, ей уже не в новинку.

Сын звонил утром сам. Ты еще не успела допить кофе, когда на экране высветился незнакомый номер, и мужской голос, ровный, без единой запинки, извинился за ранний звонок и, не дожидаясь ответа, объяснил, как с его матерью лучше: говорить в полный голос, потому что шепота она не выносит, а чай она пьет черный, крепкий, и банка стоит на верхней полке справа. Он помолчал секунду и добавил:

— Мама трудная. Но с вами, думаю, получится.

Перед словом «трудная» он не сделал никакой паузы. Ты ничего не ответила, и он, подождав, продиктовал адрес. Таких звонков за эти годы ты выслушала много; в прошлом году одна дочь полчаса объясняла тебе, какой стороной класть отцу подушку и почему он не любит слово «покушать». Лев не сказал ничего лишнего, только про шепот и про чай, и тебе это показалось хорошим знаком.

На тебе серая водолазка, приготовленная с вечера, и в зеркале лифта у тебя спокойное лицо, чуть более закрытое, чем бывает в первой половине дня, и, пока кабина ползет на четвертый, ты решаешь, что начнешь без улыбки и без руки на локте: в таких квартирах лишнее участие заходит в дверь раньше тебя.

Ты звонишь один раз, и открывают сразу.

На пороге стоит женщина с узким лицом и очень прямой спиной; белые волосы собраны назад так гладко, что линия лба кажется резкой, а поверх тонкого кардигана на шее у нее лежит матовая нитка жемчуга. Дверь она держит одной рукой и шага назад не делает.

— Вы опоздали на три минуты.

— Лифт идет медленно.

— Лифт тут старый, а не медленный. Медлили вы.

Серые глаза у нее останавливаются на сумке у тебя в руке и на лицо переходят не сразу.

— Вера, — говоришь ты.

— Я в курсе, кто вы по версии моего сына.

И только после этого она отходит в сторону.

Прихожая длинная, высокая и немного темная, хотя свет здесь выставлен точно, лампа за лампой. На узком столике у тяжелого зеркала стоит ваза с веткой эвкалипта, подсохшей по краям, и пахнет полированным деревом и чаем с бергамотом.

— Пальто туда, — она показывает на высокий шкаф. — Ботинки оставьте у ковра. И не переставляйте трость.

Трость стоит у стены, черная и легкая, из тех, что складываются втрое.

— Я и не собиралась.

— Собрались бы через пять минут. Все начинают с удобства.

Сумку ты ставишь у двери, не дальше, и видишь, что она это отмечает.

В гостиной книжные полки поднимаются до потолка, у окна под светлым чехлом стоит рояль, и чехол все равно выдает линию корпуса, как ткань выдает лежащее под ней крупное животное; торшер под зеленым абажуром светит на кресло с высоким подголовником. На стенах вместо семейных фотографий висят афиши и черно-белые студийные снимки, где люди в наушниках сидят за стеклом и молодые лица наклоняются к микрофонам. Одну из афиш

ты узнаешь: этот фильм вчера стоял в списке под ее фамилией, и в детстве ты смотрела его по телевизору раз пять, уверенная, что героиня говорит своим собственным голосом. На журнальном столике, рядом с тонкой папкой, лежит карандаш, а на блюдце — две абрикосовые косточки.

— Проходите. Раз уж пришли.

Ты входишь следом.

— Сядьте, — говорит она и тут же поправляется: — Нет. Сперва ответьте, чему вас обучили на этот раз. Сочувствовать или занимать паузы?

— Меня не обучали «на этот раз». Я пришла познакомиться.

— Все так говорят. Это часть входа.

В кресло она опускается без помощи трости, но перед тем, как сесть, на долю секунды замирает, и рука с длинными пальцами и коротко остриженными ногтями без лака ложится на подлокотник легко.

— Лев сказал, что мне нужен человек. Лев все время уверен, что мне нужен человек. У него на этот счет почти промышленное мышление.

— Иногда человек действительно нужен.

— Иногда. Но обычно не тот, которого присылают.

Теперь она показывает на стул напротив, и ты садишься не слишком глубоко. На низком столике у стены рядом со старым кассетным магнитофоном стоит маленькая колонка нового поколения, темно-серая и безликая.

— Вы давно знаете моего сына?

— Нет.

— Хорошо. Значит, еще не успели проникнуться.

— Мне и не нужно проникаться.

— Всем нужно, — говорит она. — Иначе вам не платят.

Наверху, у соседей, на пол ставят что-то тяжелое, не роняют, а именно ставят, и ты невольно поднимаешь глаза к потолку.

— Уже работаете, — замечает она.

— Я просто привыкла слышать помещение.

— Это лучше, чем «чувствовать пространство». Когда говорят «чувствовать пространство», следом обычно начинают двигать мебель.

— Вам сделать чай?

— Уже хотите быть полезной.

— Я хочу, чтобы вам не пришлось вставать.

— Мне полезно вставать. Иначе забуду, где кончается пол и начинается старость.

Она поднимается раньше, чем ты успеваешь подать руку, оставляет трость у кресла и идет на кухню медленно, но не шаркая, а ты идешь следом, на полшага позади, чтобы не выглядеть ни провожатой, ни охраной.

Кухня неожиданно светлая, в белой плитке, с медной туркой на плите; на подоконнике, рядом с банкой сушеных апельсиновых корок, стоит старый настольный метроном в деревянном корпусе, и маятник у него остановлен.

— Чай там, наверху...

Ты уже открываешь верхнюю дверцу справа, и рука находит жестяную банку раньше, чем она успевает договорить. Она замолкает, смотрит на твою руку и договаривает уже другое:

— Черный. Не этот пакетированный ужас. И воду не кипятите повторно. От второй воды чай становится вежливым.

Крышка открывается туго, и из банки пахнет дымом.

— Сколько заварки?

— На ваш вкус. Вы здесь пока не имеете полномочий.

— Тогда на ваш.

— Вот и я о том же, — говорит она, и в первый раз угол рта у нее чуть поднимается.

Пока ты греешь чайник, она садится к столу и поворачивает к себе серебряную сахарницу, ставя ее точно в светлый круг от лампы. Рядом на белой скатерти лежат блюдце с разрезанным лимоном и нож с перламутровой ручкой.

— Вы в кино работали? — спрашиваешь ты.

— Нет. В правде, — отвечает она. — А уж после в кино.

Она смотрит на чайник и на то, как ты держишь крышку банки.

— Дубляж, — добавляет она через секунду. — Режиссура. Русский текст, голоса, движения губ.

— Это трудно.

— Если плохо, это омерзительно. А хорошо — это когда никто не знает, что я там была.

Чашку ты ставишь перед ней, и она берет ее не сразу.

— Сын сказал, вы много лет этим занимались.

— Сын много чего говорит.

— Он гордится вами.

Теперь она поднимает глаза.

— Эту реплику вам дали готовой?

— Нет.

— Жаль. У хорошей готовой реплики обычно есть ритм.

Глоток она делает маленький, с закрытыми глазами.

— Неплохо. Вы не суетливы. Это уже редкость.

— Спасибо.

— Не за что. Это еще не комплимент.

— Лев сказал, что после прошлого раза вы никого не хотели видеть, — говоришь ты.

— После какого прошлого? — Она опускает чашку. — У сына все прошлые разы слипаются. Если вы о моем маленьком сосудистом празднике, то видеть я не хотела только ту женщину, которую он прислал.

— Она вам не подошла?

— Она подошла бы для санатория. Входила с лицом, уже сложенным в жалость, и говорила тихо, как в палате. Мне в собственном доме не нужен посторонний шепот.

— А вторая?

— Вторая была лучше. Она не жалела. Она нравилась. Это опаснее.

— Почему?

— Потому что приятные люди начинают думать, что им можно больше. — Она разворачивает одним пальцем блюдце с лимоном на четверть круга. — Вторая через три визита переставила сахарницу. Я спросила зачем. Она сказала: «Так вам удобнее». После этого я поняла, что она у нас ненадолго.

Ты смотришь на сахарницу, стоящую точно в светлом круге от лампы, не левее и не правее.

— А что насчет меня?

— Вас я пока слушаю.

Она встает первой, и, когда ты протягиваешь руку к ее чашке, останавливает тебя:

— Не надо. Чашку я донесу сама. Пока могу, остальное меня мало интересует.

Обратно в гостиную она несет чашку медленно, и тонкий фарфор мелко дрожит у нее в пальцах. У кресла она ставит его на столик и, еще не садясь, спрашивает:

— Вы детей любите?

— Не всех одинаково.

— Хорошо. Значит, хотя бы не врете автоматически. — Она садится. — У вас есть дочь?

— Да.

— Сколько ей?

— Пятнадцать.

— Самый неблагодарный возраст. Еще ребенок, уже судья.

— Вы это помните?

— Я это до сих пор слышу в голосах чужих дочерей.

Она берет с подлокотника пульт, и колонка на столике загорается, но вместо музыки на ее маленьком экране высвечивается входящий звонок: первая буква имени и фотография, мужской силуэт, снятый в движении. Она не отвечает и смотрит, как экран мигает, пока он не гаснет сам.

— Он редко звонит сам?

— Достаточно часто, чтобы не приезжать. Это теперь считается хорошим сыном.

На рояле, поверх чехла, лежит маленький медный ключ от метронома, а на полке над креслом стоят кассеты, подписанные от руки, одним и тем же почерком, с одинаковым наклоном, и рядом с ними папки, на корешках которых вместо названий стоят годы.

— Ваш сын сказал, вы плохо спите.

— Мой сын слишком много обо мне знает теоретически.

— А практически?

— Практически он создал целую индустрию людей, которые будут знать за него.

Ты опускаешь глаза на столик, на тонкую папку, где поверх бумаг лежит листок с несколькими строками от руки. Почерк твердый, почти без наклона, и в верхней строке можно разобрать только начало слова: «пау…».

— Вы можете остаться сегодня на полчаса, — говорит она. — Не больше. Полчаса достаточно, чтобы понять, как человек входит в дом и как из него выходит.

— Хорошо.

— Тогда не стойте над душой. Сядьте. От сидящих людей я устаю меньше.

Ты садишься на стул у низкого столика, и она дотрагивается до колонки. Загорается ровный огонек.

— Все-таки послушаем моего сына.

Запись включается с небольшой задержкой: щелчок, и следом мужской голос, низкий и теплый, тот же самый, что звонил тебе утром.

— Мам, прости, сегодня опять не вырваться. Я знаю, ты сердишься и правильно делаешь, но я в полном завале. Завтра наберу утром, хорошо? Только, пожалуйста, не спорь с врачом. И ешь нормально. Обнимаю.

Обрывается запись сразу после «обнимаю», без хвоста, без звука комнаты, в которой ее записывали, и огонек на колонке перестает мигать.

— Ну? — спрашивает она.

— Заботливый человек. Очень собранный.

— Это про службу поддержки, — отрезает она. — Еще раз.

Палец, которым она нажимает кнопку, чуть дрожит, и она прижимает его к кнопке сильнее, чем нужно. Запись начинается снова, и теперь ты слушаешь, как он берет дыхание перед каждой фразой; перед «мам» дыхания нет вовсе, и слово входит во фразу ровно, без всякого сопротивления.

— Очень чисто, — говоришь ты.

— Это уже ближе.

— Для голосового сообщения — слишком.

— Для сына — тем более. Вы понимаете, что я не о содержании? Содержание у него всегда было приличное. Лев с детства умел говорить так, чтобы за него не было стыдно посторонним.

— А вам было?

— Мне было скучно. В детстве он говорил «мам» так, будто отбивался от лишней нежности. С годами стал говорить реже. Но так гладко — никогда.

В третий раз она включает запись, не спрашивая, и на середине поднимает палец.

— Слышите? Вот здесь, после «сердишься». Здесь он должен был сбиться. Он всегда сбивается, когда ему неловко: цокнет языком или вдохнет лишний раз. А тут ровно, как будто это место кто-то пригладил.

Ты слушаешь до конца и молчишь. Утром по телефону он говорил так же ровно, и тогда ты решила, что это от раннего часа.

— Это не бред старой женщины, — говорит она.

— Я этого и не думала.

— Все думают. Просто не сразу говорят.

— В этой записи убрано лишнее, — медленно говоришь ты. — Я не могу сказать, что именно, но...

— Вот. Уже есть «но». Очень полезное слово, в нем иногда помещается половина правды.

— Вы думаете, он редактирует сообщения?

— Нет. Я думаю, мой сын перестал присылать мне самого себя.

Она поднимается, подходит к роялю и на секунду задерживает пальцы на чехле, берет с него медный ключ, поворачивает его между пальцами и кладет обратно.

— Лев всегда говорил короче, когда врал, — произносит она, не оборачиваясь. — И жестче, когда был виноват, почти грубо. Здесь ничего этого нет. Только идеальный сын для позднего вечера, а идеальные дети водятся в чужих рассказах и в плохой драматургии.

Ты улыбаешься, и она, обернувшись, это видит.

— Может быть, он просто очень старается вас успокоить.

— Когда человек по-настоящему старается успокоить, в голосе остается след усилия. А тут один результат.

К креслу она возвращается медленнее, чем шла к роялю, и пальцы на этот раз дольше задерживаются на подлокотнике.

— Вы это слышите по профессии? — спрашиваешь ты.

— Вся моя жизнь — это люди, которые открывают рот чужими словами, — говорит она, глядя на колонку. — Плохая подделка выдает себя старанием. Хорошая — отсутствием случайности.

— Он давно не приезжал?

— Приезжал. — Она поводит плечом. — Телом. Это не одно и то же.

— Не понимаю.

— И не надо пока. Достаточно, что вы перестали слушать меня как клиентку.

Со столика она берет телефон в темном кожаном чехле и показывает тебе экран: несколько сообщений от сына, короткие, правильные, без единой торопливой буквы, и все отправлены после десяти вечера.

— Даже опечатки у него стали дисциплинированнее. Я родила мальчика, который терял варежки и закрывал фразы носом, а теперь мне звонит мужской голос без промаха. Простите, но я старше этой сказки.

Ты не споришь. Телефон она откладывает и складывает ладони на коленях.

— Мне не нужен человек, который станет мягко убеждать меня, что возраст портит слух. Я хуже хожу и устаю от лестниц и от вежливых идиотов, но слышу лучше многих молодых, потому что мне давно не хочется нравиться ни людям, ни звуку.

— Хотите, чтобы я послушала что-нибудь еще?

— Пока нет. Для первого раза достаточно.

Ты уже поднимаешься, когда она говорит:

— И еще одно, Вера.

— Да?

Она откидывается на спинку кресла, и голос у нее становится тише.

— Не подстраивайте под меня дыхание.

Ты не двигаешься.

— Простите?

— Вы делаете это очень аккуратно. Все ловят чужой ритм в первые минуты, это нормально, но вы делаете это корпусом: вдох у вас короче моего, выдох длиннее, и паузы совпадают. Перестали вы только один раз, когда слушали его.

— Я не хотела вас раздражать.

— Раздражаете вы меня меньше других. Но вы все приходите совпадать.

— Значит, у вас уже были две?

— Были.

Вежливое «вы» она отрезает буднично, как лишнюю нитку на шве.

— Ты уже третья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.